

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ. Царь Андрон, апокалиптическая повесть с послесловием К. Радека Госуд. Издательство. 1921 г.
Стр. 107. 50000 экз.

Как будто вознамерившись опровергнуть свой собственный псевдоним, Демьян Бедный без-устали дарит нас в последнее время обильными и обширными плодами творчества. И как кому, а пишущему эти строки, признаться, больше по сердцу был Демьян «первоначальных лет»—сжато-крепкий, истинное воплощение быстрого и меткого, как стрела, мужицкого и рабочего юмора. Дух чистушки, дух «политического» лубка, казалось, сидел в нем...

Но, как говорится, на вкус и на цвет товарища нет. Самому поэту, очевидно, кажется лучше выражающим свойственное ему вдохновение пространно-широковещательный стиль. Его дело. Он—законодатель в кругу своих стихов. Будем считаться с его «верховной волей». «Царь Андрон» написан под очевидным влиянием Кронштадтских событий нынешней весны. Внезапный взмет анархическо-мелкобуржуазной стихии в этих событиях многим сверкнул в глаза, как молнией, вопросом: что было бы в самом деле, если бы кронштадтская бунтующая «братья» осуществила свой нелепо-пешехонский лозунг: «да здравствуют советы без коммунистов»?

Ответ был ясен. Он дан был заранее столетней историей европейских революций, где темная крестьянская масса бросала рвущийся из цепей капитала рабочий класс под ноги этому самому капиталу, чтобы и самой затем задыхаться в тех же цепях. Таков приблизительно и ответ Демьяна, конечно, в игриво-фантастическом виде, подобающем «пророческому наитию» или «апокалиптическому сну».

В 3 частях «повести» автор изображает, как мужицкая свобода от «коммунии» постепенно обволакивается кадетско-меньшевистско-эсэровскими шайками, единственная задача которых—восстановить царство золотого тельца и фабрично-помещичьей эксплуатации. Сперва мужицкий диктатор Андрон Хмурый, прогнав

и казнив большевиков, созывает Учредиловку. В нее, понятно, пробирается подавляющее большинство кулачья, которому для полной «слободы» живодерства нужно лишь одно: сильная власть, т.-е. царь. И вот Андрон—царь «народною волею». Разливанное море, пир горой для спекулянта, крупного жуля, в роде эс-эра Виктора Чернова, попадающего в министры, и прочего воронья. Города голодают, промышленность лопается, рабочие разбегаются. Большевикам, в их подполье—непочатый угол для агитации. Все кончается новой мировой войной и всемирной революцией, которая приводит с собою возвращение большевиков и Советской власти в России. Хмурый Андрон исчезает обратно в своей стихии, как пузырь, вскочивший в бурю на воде.

Все хорошо, что хорошо кончается—как в старинных романах. Можно было бы, разумеется, спорить с поэтом насчет обязанности такого оптимистического исхода дела. Можно было бы сказать, напр., что большевизм или, точнее, революционный марксизм больше рассчитывает на *сознательное*, т.-е. намеренное «изменение бытия» рабочим классом, на прямую организацию, на строительство коммунизма, чем на автоматически-благоприятный объективный фактор.

Такая розовая надежда на последний несколько грешит преклонением перед тою самой стихийностью, которую автор клеймит в своем «Царе Андроне». «Бедненький, мол, ох, а за бедненьким Бог». Но... но опять-таки вспомним, что ведь все это—«поэтическая вольность», и не будем слишком придирчивы. Автор, очевидно, хотел дать нечто агитационное, и агитацию представляет себе только в такой форме: большевик—он в море нетонет и в огне не горит. До известной степени это, пожалуй, и верно, но... лишь до известной степени. Все-таки надо и в агитации меру знать. В этом смысле, может быть, не худо было бы в другом каком-либо «сне» показать: почему мы все-таки избегли кронштадтской опасности, и как надо впредь ее избегать. А то какая-то выходит «самогонка» революции. Это скорей философия истории Мартова и

мадам Любови Аксельрод, хотя и в «боевом» наряде.

Меньше приходится сказать, собственно, о поэтической форме «Царя Андrona». Буду тут говорить просто с точки зрения рядового читателя. Слишком уж Демьян Бедный вдается здесь в тягуче - широковещательную, почти прозаическую речь стародедовских притчей и причитаний. Почти лишь одна рифма на конце стихов напоминает о том, что это поэт писал, и притом — какой подчас, бывало, звучный, какой умелый в перезвоне русской речи! Конечно, хороши иногда бывают стихотворные демьяновские «передовицы» и «ноты», но на многих страницах это, в конце-концов, утомляет.

Хорош, стилен в своем роде «Андron», даже для массового читателя во многом поучителен. Но все же лучше Demьяновы басни, острые, сногшибательные. Или вот этот боевой марш красноармейцев, что начинается словами:

Левой, правой, левой, правой,
Через горы и леса.
Иль погибнем мы со славой,
Иль покажем чудеса!...

Д. Дивильковский.

В. КОРОЛЕНКО. История моего современника. Т. III. Изд. «Задруга», Москва.

Третий том «Истории моего современника» читается с таким же интересом, как и прежде вышедшие тома.

Книга начинается описанием жизни Короленко в лесной глупши березовых Почкинок. Здесь, на крайнем севере Вятской губ., где не знают телег «за полным отсутствием летних проезжих дорог», перед Короленко прошла обнаженная зоологическая правда жизни наиболее темных слоев крестьянства. Он поселился в той избе, где хозяин-мужик Гавря четыре раза сбрасывал свою жену Лукерью «через брусь», т.-е. с полатей на пол.

Никакого общего языка с починковцами у Короленко не было: всякие разговоры о царе и власти могли их интересовать, как сказка. Здесь люди, в самом подлинном смысле, жили «без понятия о праве, о Боге». И не Достоевский с его

идеализацией крестьянской религиозности, а Белинский мог бы найти твердое обоснование своему утверждению (в письме к Гоголю), что русский народ по существу глубоко атеистический народ.

Но никто из них не является правым, ибо обширна Россия и велико многообразие степеней морального и культурного развития крестьянской массы. Короленко признает, что у других крестьян (т.-е. крестьян юга и центра России) много церковных суеверий, но в общем «их мир богаче и сложнее мира починковцев». Короленко видел, что «в этом лесном углу никакой в сущности религии не было». Одна баба насчет бессмертия заявила ему категорически: «я чаю, хлопает попзря». — А по-твоему как же? — спросил Короленко с любопытством. — «Пал да пропал, — больше ничего», — сказала она удивительно просто. Но этот нигилизм великолепно уживался с верой в лешего, ворующего рыбу в реке, в колдуна и русалок, в огненного змия и в «лихоматку», которая в каком-то странном образе ходит по свету. Все эти страницы у Короленко ярки и захватывающие интересны. Именно здесь, в этом лесном углу, Короленко исцелился от романтического представления о крестьянской массе. Эта черта — говорит писатель — была присуща «не мне одному, а всему моему поколению... мы создавали предвзятые общие представления, сквозь призму которых рассматривали действительность».

Портреты починковских ссылочных — живые: рабочий Федор Лазарев, Карл Несецкий и в особенности Федор Богдан. Печально, надтреснутым голосом Несецкий поведал ему о том, как он потерял своего ребенка, благодаря подлому самодурству исправника. Память об этом человеке сохранилась у писателя, как одно из трогательных воспоминаний молодости.

Но, быть-может, самая интересная глава третьего тома, это история похождений Федора Богдана: его путешествие к царю в качестве ходока с жалобой на помещика. За свою наивную веру в царя Федор Богдан и попал, в конце-концов, в ссылку. Короленко передает о впечатлении крестьян-слушателей от рассказа Федора Богдана. «Мне кажется, — говорит писатель, — точно я присутствовал в тот